

БИБЛИОТЕКА

ОГОНЁК



*Виктор Семенов*

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«ТЕРРА»  
КНИЖНЫЙ КЛУБ

**Черный  
квадрат**



БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК»

*Издается с 1925 года*

---

ВИКТОР СЕМЕНОВ

ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ



Издательский дом «Огонек» — «Терра—Книжный клуб»  
Москва — 2008

## **ОБ АВТОРЕ**

**СЕМЕНОВ Виктор Федорович** родился в 1947 году в городе Свердловске. Учился в Школе-Студии при МХАТ на постановочном факультете и во ВГИКе – на сценарном. Работал художником-постановщиком в театрах Белоруссии, России, Украины. Печатался в газетах и журналах. Автор сборника повестей и рассказов «Дождь на скорую руку», сборников «Короткий роман с нечаянным веком», «Поэзия. Проза. Графика». Член Союза писателей России

- © Издательский дом «Огонек»,  
внешнее оформление, 2008
- © Terra—Книжный клуб, 2008

## РОНДО НА ДЕНЬ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА

Как бывает: глядишь на огонь, а потом закрываешь глаза, но огонь продолжает гореть в запертых наглухо веках. Горит он всегда очень долго и гаснет с обидой и нехотя.

А бывает наоборот: из тьмы появляется свет. Сначала маленькой точкой. Потом свет становится ярким, огромным, и нужно быстрее открыть глаза, чтоб не ослепнуть.

Прекрасно, когда свет и тьма не мешают друг другу. Лопастой снежинкой лежит тот свет на черном бархате тьмы.

Такой была ночь в Вифлееме.

«Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человецех благоволение!..» — пели небеса. Пахло хлебом, теплом, рогожами. В самом зените тьмы сияла звезда, на которую всю ночь молились женщины...

Ершова открыла глаза. Перед ней была та же ночь с одинокой звездой в окне.

Она помнила: ей что-то снилось. Сон был знакомым и ласковым. Хотелось вспомнить его, но уже неспящие глаза пихали тот сон в закутки беспмятства, выставляя наружу белые стены какой-то комнаты с дверью и умывальником у двери.

Строем стояли двенадцать коек. Четыре из них были заняты.

В чьей-то странной задумке расположились рядом красный рояль, гинекологическое кресло и низенький стол, на котором лежал, опрокинувшись навзничь, безголовый и безрукий манекен. Между широко раздвинутых ног его чернела дыра. Из нее торчала голова куклы.

На стенах — и вкривь, и вкось — висели другие куклы: без рук и без ног, с оторванными париками.

Боясь смотреть прямо, Ершова обшарила взглядом искося все углы и вдруг успокоилась, найдя в одном из них, вероятно в красном, настенный календарь с иконой Владимирской Божьей Матери.

В палату лениво вползал рассвет. С весенним подскоком, не по сезону, стучала капель.

Послышался тихий вздох. На Ершову с соседней койки смотрели два черных огромных глаза.

— Привет! — сказала ей незнакомка. — Я — Софья Риффель. А ты?  
— Я — Вера.  
— А это кто? — кивнула Риффель на двух еще спящих женщин.  
Не дожидаясь ответа, она продолжала:  
— Койки тут дрянь!  
— Хоть не в два этажа.  
— И постельки воняют. Бр-р!..  
— Все тебе тут не так, — сказала Ершова.  
— А тебе тут все так?  
— И мне все не так. А что делать?  
Риффель слезла с кровати, пошла к умывальнику. Скинув рубашу, она понохала груди, под мышками, фукнула и, открыв кран до отказа, подставила под воду лицо.  
— Радио, что ли, послушать? — подумала вслух Ершова.  
Она покругила ручку приемника.  
Кто-то сиропил вовсю.  
— Это она или он? — вытираясь, спросила Риффель.  
— Наверное, он.  
— Мужчинка!.. Косы, поди, до пят, задница — как у девки.  
— А голосок — как у задницы, — закончила мысль Ершова.  
С койки, стоящей у двери, послышался смех. На них, по-детски открыто, смотрела совсем молодая женщина.  
— Доброе утро! — сказала ей Риффель. — Спорю на что угодно: ты — Люба.  
— Я Надя. Анзина Надя.  
— Я Люба. Любовь Шинкарук, — сказала четвертая женщина.  
Открыв задом дверь, в палату ввалилась нянька.  
— Нужно стучаться, — сказала ей Риффель.  
Нянька поставила швабру с ведром и, ничего не ответив, вышла.  
— Ступу с метлой забыла! — крикнула вслед ей Риффель. — Явилась, как фея к Золушкам..  
— Полы мыть? — спросила Анзина.  
— Да.  
— А кто должен мыть?  
— Я не буду.  
— А я не хочу. С какой стати?  
— А у меня еще кровь течет... — сообщила Ершова.  
— Все течет, и все из меня, — усмехнулась Риффель.  
Она взглянула на женщин:  
— У вас деньги есть?  
— У меня деньги там, — ответила Анзина.  
— Где «там»?  
— Где вся одежда.

— У вас тоже «там»?

Шинкарук и Ершова кивнули.

— Ладно, — сказала Риффель.

Она достала коробку конфет и вышла.

Женщины молча ждали.

Вскоре вернулась Риффель. Она вела няньку под руку и что-то шептала ей.

— Мой тут за всякими! — буркнула та, макая тряпку в ведро.

— Это ты зря. Это ты очень зря, — сказала ей Риффель. — Зачем же людей кусать?

— Тоже мне, люди!

— А кто же еще?

— Сама знаешь кто.

— А ты тогда кто?

— А я за тебя тут полы мочу.

— Вот и мочи. Заплачено!

Нянька домыла порог и, прежде чем хлопнуть дверью, бросила:

— Ироды вы, а не люди! И Богородица вам не указ!

— С утра война! — поморщилась Риффель. — И, как на грех, в Рождество!

— Мамочка! — ахнула Анзина. — Я больше здесь не хочу!

— Сейчас везде «не хочу».

— И это за чем-то тут, — кивнула на кресло Анзина. — Мне, например, непонятно!

— Мне тоже, — сказала Ершова. — Где мы?

— Мы в Вифлееме, — ответила Риффель. — Все как в Писании: ясли, звезда... Нянька была волхвом.

— Это не ясли. Чердак! — возразила Ершова.

— Или музей?.. — догадалась Анзина.

— А мы кто? Музейная редкость?.. Умора! — хихикнула Риффель. —

Мы — экспонаты!

— Мисс экспонат или миссис? — спросила ее Шинкарук.

— Я — мисс!

— Скажите нам, мисс, как вы здесь очутились?

— А вы, мисс?

— Я — миссис!

— Все, девки, шабаш! — сказала Риффель. — Еще пару раз вот так, и загребим мы все к Богу в рай!

Она обошла смотровое кресло, села в него.

— Интересно, в рай это было?.. Наверное, было. С него началось изгнание. С этой вот штуки и с гинеколога-боженьки... Три! Два! Один! Пуск! — засмеялась она. — И прямо сюда. В экспонаты!

— Хорошенькие, и... недорого, — сказала Ершова. — Нас хоть на конкурс!

— Я — за!  
Махая руками и бедрами, Риффель пошла вдоль коек.  
— Корова на льду!.. — оценила походку Анзина.  
Она продолжала:  
— Ножку нужно сюда, а бедро — вот сюда. Плечико тоже важно.  
И глазки... Глазки стрелять должны!  
— Ну-ка, стрельни! — попросила Риффель.  
— Все очень просто. Смотри.  
— Аж мурашки по телу!  
Хлопнув в ладоши, Риффель крикнула:  
— Уважаемая публика! Предлагаем вам шок-шоу!..  
— погоди орать, — перебила ее Ершова. — Сперва интервью. Пару вопросов.  
— Только нетрудных.  
— Имя твое мы знаем. А возраст?..  
— Я же просила!  
— Ладно, — сказала Ершова. — Место рожденья?..  
— Мама.  
— Это — малая родина. А большая?  
— Родина-мать.  
— Слово — жюри.  
— У жюри нет слов, — ответили Анзина и Шинкарук.  
— Тогда все! — махнула рукой Ершова. — Несколько слов о любви,  
и — все!  
— О любви я хочу под музыку, — сказала Риффель.  
Она подседа к роялю, тронула крышку:  
— Заперто!  
— Правильно. Чтоб не играли, — объяснила ей Шинкарук.  
— Тогда я так, — продолжала Риффель, деревянно стуча по крышке.  
— Любовь — это... Это... Может быть, кто подскажет?  
— Любовь — это... как это, — сказала Шинкарук, ткнув пальцем в манекен.  
— Жуть какая-то! Соцреализм! — засмеялась Риффель.  
Она подошла к манекену, дернула куклу за голову. Та вдруг отчетливо  
пискнула: «Ма-ма!»  
— Мама! — взвизгнула Риффель.  
— Ты что, с гор сошла? — спросила ее Шинкарук.  
— Напугала, чертова кукла! Это же надо — вдруг: «Ма-ма!» Словно в кошмарном сне!  
— Куда ночь, туда и сон. Тьфу-тьфу!..  
— И еще раз тьфу! — сказала Риффель.  
— Вчера под наркозом лежала, — сказала Ершова. — Думала, если Бог даст, завтра проснусь. А сегодня проснулась и... вот!..



— Может, еще не проснулась? — спросила ее Шинкарук.  
— Снилось что-то. Не помню.  
— А мне снилось «сучье вымя». Всю ночь снилось «сучье вымя». Я корни давлю, а из них вылезают «солдатики». Это жучки такие: красные спинки с черным узором. Я их давлю, а они вылезают. Маленькие и... цецо-чут!

— А я есть хочу, — сказала Анзина. — Все время есть хочу. Внутри — как в пустой кастрюле.  
— Сейчас. Потерпи, — сказала ей Шинкарук. — Ставьте стол и давайте завтракать.  
— А ее куда? — спросила Риффель, взглянув на манекен.  
— Клади на пол. Он чистый.  
— Я ее — на рояль.  
Положив манекен на рояль, Риффель сказала, любуясь:  
— Красный рояль. Белая девушка... По-моему, красиво!  
Шинкарук поставила стол между коек. Делая все по-женски опрятно, она нарезала хлеб, почистила яйца.  
— А здесь вообще-то кормят? — спросила Ершова.  
— Конечно, — сказала Риффель. — Здесь даже гречку дают.  
— Ого!  
— Давали...  
— Ладно, садитесь! — позвала к столу Шинкарук.  
— Пицца богов! — восхитилась Риффель. — Сидим, как... Как... Как я не знаю!..  
— Сидим, слава богу! — сказала Ершова. — Красиво сидим.  
— Ты это серьезно?  
— Я это сгоряча.  
— Чего-то тут не хватает, — сказала Риффель. — Брызгов шампанского? Псалмов?..  
— Попробуйте это, — сказала Анзина, ставя на стол пирог.  
— Ух ты! — воскликнула Риффель. — Это по случаю чистки?  
— Отстань от нее, — сказала Ершова. — Может, у ней день рождения.  
— Я родилась в сентябре, — возразила ей Анзина.  
— Я тоже, — сказала Ершова. — Созвездие Девы. Наш камень — сапфир. Планета — Меркурий.  
— А наша судьба?  
— Судьба Девы...  
— Какой восторг! — жуя пирог, сказала Риффель.  
— Тут крем особый, — похвасталась Анзина.  
— Как «Киевский» торт.  
— В «Киевском» все по-другому!  
— У меня два любимых торта: «Пražский» и «Киевский».  
— У меня еще «Птичье молоко».

— У меня тоже. Я просто про него забыла... А помните, был шоколад? — продолжала Риффель. — И сейчас такой продают. Медвежата. Зайчики.. Я как-то болела. В детстве. Аж бредила!. Тебе вот «солдатики» снились, а мне — солдаты. Живые! Все в красном и делают что-то. Смотрю я на них, дрожу от страха, а сама шоколадку хочу: зайчика!

— А нам всегда мама пекла, — стала рассказывать Анзина. — У нас была роза в кадучке. Мама пирог испечет и за розу его: пусть зреет. А я вокруг розы ползаю, слюнки пускаю.

— И этот пирог мать пекла? — спросила Риффель.

— Мама. Мы с мамой живем.

— Брюхо тоже от мамы?

— Ты дура!

— А ты?

— Я тоже, — ответила Анзина. — Был тут один. Я его обожала! Мы пили в «Острове» шампанское. Я вышила свой бокал и отрыгнула. Получилось громко. Он покраснел, расплатился и вышел.

— Скатертью дорога! — сказала Риффель.

— Ему-то скатертью. А мне?..

— А тебе — поделом! — отмахнулась Риффель. — Им что? «Сделал гадость, гуляя на радость!» Так говорил мне мой самый первый. Он меня «ягодичкой» звал. Должно быть, с «ягодкой» путал.

— А я своего не пойму, — сказала Шинкарук. — Все в нем неясно, как... пол у педераста. Все с ним на «фу!». Противно!

— Смешные мы, бабы, — сказала Риффель. — Все нам не так. Мужчины мудрее. Как говорил мне знакомый лабух: «Лишь бы член стоял да трости были».

— У тебя знакомые прелесть! — сказала, смеясь, Шинкарук.

— А ты не завидуй: ты — замужем. Твой хоть какой-никакой, а муж. Это я — женщина вольная. Наша любовь проста: слиплись — разлиплись. Мне замуж нельзя: приметна. Я в той «Острове» работаю. Официанткой. Намаешься за день: ни рук, ни ног! Ползешь в родную общагу. А там гуняши, гунявчики. Каждый с любовью лезет: либо дай, либо в морду!

— А ты? — спросила ее Шинкарук.

— А я либо дам, либо — в морду!

— Смешная ты, Сонька!

— Жизнь смешная.

— Чего уж смешней: еврейка в общаге.

— А ты как хотела?

— Не знаю. У вас все иначе: врачи, музыканты..

— У нас — как у всех. Только хуже.

— Наелась! Как перед смертью! — сыто пыхтя, сказала Анзина.

Она подошла к умывальнику и заглянула в зеркало, висящее над ним:

— Ну и рожа!  
— Зато своя, — пошутила Риффель.  
— Тебе грех скулить, — улыбнулась Ершова. — Чай, не за рубль двадцать. Одни ножки твои чего стоят!  
— Чего? — вяло спросила Анзина.  
— Ты ко мне приходи. Наряжу по благу.  
— Как «наряжу»?  
— Очень просто. Я шью. Все «шишки» шьют у меня.  
— Прелесть какая! — сказала Анзина.  
— Прелести никакой, — возразила Ершова.  
Она продолжала:  
— Все хотят ледами быть. Соберутся до кучи: «Тут будет так, а тут — эдак. Здесь рюшки, а здесь параллельный кант...» Все у них «милочки», все «голубушки». «Тут не права ты, милочка! Серый цвет для Рейкьявика. Красный — для нас. Красный с черным — для Штатов...» Послушать их — со смеху сдохнешь. Все — как из басен Крылова...  
— У нас те, из басен, часто банкетят, — вмешалась Риффель. — Ослы. Козлы. Сукины дети!.. Запрутся в своей «депутатской» и жрут. Морды как камни, пасти — хам-хам!.. Потом лезут.  
— Как романтично! — сказала Анзина.  
Риффель пожала плечами:  
— Уж лучше так, чем просто так. Да и места терять неохота.  
— Не скучно всю жизнь при чужой подливке? — спросила ее Шинкарук.  
— Мне подливка моя — не чужая!  
— У нас попугай живет. Не из басни. Ему сто лет, представляете? И все сто лет он галдит: «Береги честь смолоду!..»  
— Про «ум, честь и совесть» я слышала. Чай, не глухая. И кому что беречь, тоже знаю. Баснями сыт не будешь. Баснями попугая корми. А я уж со всеми: хрю-хрю! Так-то оно вернее.  
— Каким нужно быть хрю-хрю, чтобы придумать все это!  
— Хрю-хрю он и есть хрю-хрю.  
— При старых хрю-хрю жилось легче, — сказала Ершова.  
— Хрен редьки не слаще, — ответила ей Шинкарук. — Были Швондеры. Стали Бендеры. Тоже не славу богу.  
— Какое-то странное чувство, — продолжала Ершова. — Я будто кого-то слышу. С утра чей-то голос во мне. Будто здесь кто-то есть. Еще кто-то есть. Кроме нас.  
— Может, она? — кивнула Риффель на манекен.  
— Или Она?.. — взглянув на икону, сказала Анзина.  
— Она! — побледнела Ершова. — Это Она мне снилась!  
— Выбрала время для сна! — поморщилась Риффель.  
— Не знаю, как вы, а я думала: идти мне сюда или нет? Стать как Она, или...

— Или чего? — взглянула на женщин Риффель. — В том-то и дело, что ничего! Гнать всех подряд на Голгофу? Так и Голгоф не хватит!

— Хватит!.. — сказала Ершова. — Какое подлое время! Черту — свечка. Богу — кочерга. Прошлое — насмарку. Будущего нет. Кому нам, девчонки, молиться?

— Им, — ответила ей Шинкарук, снимая со стен игрушки. — Разбирайте богов! Эту — тебе. А эту — тебе.. Бери же!

— Не лезь! — крикнула Анзина.

— Как хочешь, — ухмыльнулась Шинкарук. — Навалят нас к вечеру тут двенадцать штук, как апостолов, и будем вонять свежей кровью. А те, на кого нам молиться, будут плавать в тазах.

— Замолчи! — чуть не плача, взмолилась Анзина. — Скажите ей, пусть замолчит!

— Я работаю в доме ребенка, — глядя на кукол, продолжала Шинкарук. — У нас там таких полно. Этот — как Ромка Любимов. Мать у него с приветом. Это вот Тина, с болезнью Дауна. Ее на помойке нашли. А этот похож на Петровича. Есть там у нас Петрович. Без рук и без ног: растут какие-то ласты.

Она отшвырнула куклу:

— Нет, не хочу детей!

— Не все же такие, — сказала Анзина.

— Все! — ответила ей Шинкарук.

Она подошла к окну, повисла рукой на раме переплета:

— Почему так тихо? Здесь же не только мы.

— Здесь только мы, — встав рядом с ней, сказала Ершова.

— На улице грязь. Рождество и.. грязь. Какая плохая зима!

Она расплющила лоб о стекло, стала смотреть наружу. Там лежала давно не метенная площадь. По левую сторону от нее тянулся забор с надписью «Платная автостоянка». Справа серой губой обрамляла площадь крупнопанельная пятиэтажка.

Счастье — седобородый дед с разбитым зацифренным внуком — было писано на гастрономной витрине зубным порошком и облезло наполовину, и так же наполовину облезло лихое, все в завитушках пожеланье в Новом году новых удач.

Небо дрожало, как тающий студень. И все вокруг таяло, текло, собираясь в ручьи, что неслись вдоль обочин с переброшенными к ним, без всякого расчета на шаг, кирпичами. Вода билась о те кирпичи, кипя вокруг них лживыми мартовскими бурюнами:

Прошел грузовик, поднимая по сторонам почти вертикальные волны. Брызги упали на тротуар щедрой дробью, а на перекрестке, у светофора, вдруг залепили в рекламный щит звонко-рассыпчатую пощечину.

Спутанным мотком, издавая такие же спутанные звуки, пролетела воронья стая и села, спутав ветви дремавшего вяза черными узелками.

День был как наизнанку: тоже весь в узелках, в пунктирах капели, и невозможно было представить себе, что где-то там, на лицевой стороне зимы, сверкает январь в сказочно-снежном великолепии.

— Все набекрень, даже погода, — глядя в окно, сказала Шинкарук. — Что это: жизнь или как?..

— Или никак, — ответила ей Ершова.

— Кому как, — возразила Шинкарук.

Ткнув пальцем вверх, она продолжала:

— Им, например, во как! Вечно заварят кашу, а нам расхлебывать.

— Сколько ж ее хлебать? Чай, не манна небесная!

— Есть анекдот, — сказала Риффель. — Прямо для сей минуты!.. Пришел новый русский к врачу: «Что-то с желудком, доктор!» «А что?» — спрашивает тот. «Поем красной икры, хожу красной икрой. Поем черной икры, хожу черной икрой». «А вы ешьте говно, как все», — советует доктор.

Посмеявшись, она продолжала:

— Прошлой зимой я в Зальцбург ездила. Зальцбург — он в Австрии. Утром там «шведский стол». Закуски — какие хочешь! Там все без химии. Там и на двор по-другому ходишь, не то что здесь, с наших саек.

Она глубоко вздохнула.

— Там грязи нет. Везде чисто. А в Шереметьево сразу в дерьмо и влезла. Стою, сапог в луже мою. Эх, думаю про себя, страна-а!.. Вещей полно. Руки не держат. Кричу: «Такси! К Павелецкому!» А он, козел, цену ломит. «Ты что, — говорю ему, — чокнулся?» «А ты?» — говорит. «А я — нет!» «Тогда, — говорит, — пешочком!» Ну, думаю, падло! Поехали! К вокзалу срулили, там мэны с тележками. Рожки у всех, как радуги. «Позвольте, мадам! Ваши вещи, мадам!..» Моргнуть не успела, помча-ались! Только и слышу: «Поберегись!» Подбежали к вагону. «Сколько с меня?» — говорю. «Какие деньги, мадам! Мы — зелеными!..» Сую я ему что осталось. «На, — говорю, — колтырь! Бери, — говорю, — и помни!..» Сама — в вагон. Сижу, в окошко гляжу. Бардак!

— Хоть караул кричи, — согласилась Ершова. — Что ж еще делать?

— Нужно варягов звать, — догадалась Анзина. — Или варяжек.

— Мы сами не лыком шиты, — ответила ей Шинкарук. — Я сейчас свою бабу вспомнила. Мамину мать, бабу Тэкло. Дед под ней пикнуть не смел. Старуха злая была, как ведьма. Я ее так и дразнила: ведьмой. А она смеялась в ответ и твердила: «До двадцати рокив мы — панночки, а потим — уси видьмы».

— А после «потим»? — спросила Риффель.

— Кому мы после нужны!

— А где ты других возьмешь?

— В твоём чистеньком Зальцбурге.

— Тю! — удивилась Риффель. — Я здесь при чем? В нашем отечестве, как и в вашем: кто тебя в хвост, а кто — в гриву!.. Мне чистота в диковину. Мать мою, сколько помню, все мужики собой грели. Дяди Гришии, дяди Пети.. Сколько их было, Господи! Каждый хотел создать образ свой и подобие. Строили, зодчие, пыхтели!

— А у меня детство было прекрасным! — сказала Анзина. — Помню крыльцо у подъезда, дождик, и мы на крыльце — дети. Визжим. Под дождь выбегаем. Смеемся. У всех — беззубые рты.

— Как весело ты рассказала! — всплеснула руками Ершова. — Я словно увидела радугу!

— Давно я ее не видела. Я даже не знаю, есть ли она теперь? В детстве была, — сказала Анзина. — У нас две реки протекало: Вагай и Гремячиха. А радуга между ними — как пуповина.

Она взяла в руки куклу, прижала ее к груди.

— Я всегда о дочке мечтала. Еще со школы о дочке мечтала. Я ее просто видела. И платье, и бант ее видела. И как мы гуляем с ней. Только она и я.

— Рожала бы. Кто не давал? И играй себе на здоровье! — сказала Риффель.

— Глупая ты! — ответила Анзина. — Я балетная. Мне нельзя рожать: я — в репертуаре. И вся моя жизнь вовсе не жизнь, а репертуар на жизнь. Сначала «Жизель», потом.. старость.

— Свету конец! — засмеялась Риффель.

— Конец да конец.. Когда же начало?

— Света начало? Как непривычно звучит.

— «Все у нас впереди...» — согласилась с ней Анзина. — Кажется, так пел Бернес? Царство ему Небесное!

— Где оно, Царство Небесное? — спросила Риффель.

— Как, то есть, где? Где надо.

— Не надо, — сказала Риффель. — Терпеть не могу философий: всегда доведут до слез. Хватит о царствах небесных! Как говорил мне мой самый-самый: «Всякой потехе час».

Она легла, потянулась всем телом.

— Дурачок мой очкастенький! Я очки-то с него сняла, и он — все! Стоит совсем расслепой. Меня, как стенку, лап-лап! Тут я и сомлела!

Она засмеялась, прикрыв рот ладонью.

— Это он мне ребеночка сделал. Думала, все расскажу, и будет, как в книжках: лобзанье рук, святые слезы. А он глядит на меня, как обосранный. «Зачем, — орет, — нищету плодить! Куда мы с ним сунемся!..»

— Все слова изо рта сразу высыпал, — сказала Ершова.

— Слов у него — вагон: литератор. Пишет про всякую дрянь.

— Зачем же про дрянь писать?

— Чтoб читали.

— Про дрянь?

— А про что? Про любовь?

Она усмехнулась.

— Когда про любовь — не платят... Я с первым своим встречалась, ну с тем, с «ягодичкой». Весело с ним встречалась. Бывало, посадит к себе на колени, и понеслась! Я ему про любовь: жениться, мол, надо. А он: «Нам и так хорошо!» И он хороший. И я... Жена у него в церковь ходит. Тоже хорошая.

— Все хороши, — сказала Ершова. — Черт бы нас всех побрал!

— Он и побрал, — подтвердила Риффель.

— Если б, — сказала Анзина. — Было б тогда понятно.

Она оглядела сидящих.

— Все — дрянь. И то, что мы здесь, — дрянь. Я тоже дрянь. Какая ж я дрянь!

Стукнув себя кулаком в живот, она продолжала:

— Я только сейчас поняла: наш Вифлеем был там. Все было там: и Вифлеем, и Голгофа. Правду нянька сказала: мы — ироды!

— Кто это «мы»? — возмутилась Риффель.

— Я! — сказала она.

— Не хочешь быть иродом? Привыкай!.. Что ж ты так поздно про Ирода вспомнила? Ты бы о нем тогда помнила, когда между ног чесалось.

— Замолчи! Ты — подлая!

— Не нравится, сблюй.

— Я блюю на тебя!

— Ирод блюет на Ирода! Так не бывает!

— Вы замолчали бы! Обе! — сказала Ершова.

— И ты бы заткнулась! Пора! — вспыхнув как спичка, ответила Риффель. — Тоже мне, Мать Божия!

— В Богородицы я не лезу. Я просто хочу жить как люди.

— А ты и живешь как люди: по-свински.

— Ты сволочь! — сказала Ершова. — Ты шлюха. Слиплась — разлиплась!..

— Ха-ха! Чья б корова мычала!

— Гадина! Шалашовка!

Ершова схватила куклу, швырнула в Риффель. Та подняла игрушку, оттерла ладонью и вдруг со всей силы ударила ею Ершову.

— Дуры! Скоты! Прекратите! — разнимая дерущихся, кричала Шинкарук.

— Девочки! Девочки!.. — где-то в стороне визжала Анзина.

Вмиг обессилев, Ершова упала на койку.

— Боже! Какая гадость! — взвыла она.

Риффель плакала молча, зло сдирая с глаз слезы. Шинкарук трясло. Она обнимала себя руками, стараясь унять озноб. Анзина сидела, вцепившись в грядушку, и плакала, как наказанный ребенок.

В палату вошла медсестра. Удивленно взглянув на женщину, она обошла смотровое кресло, сверила номер на нем с записью в блокноте и, распахнув настежь дверь, сказала:

— Его нужно выкатить.

— Куда? — повернулась к ней Шинкарук.

— В процедурку...

— По мне — хоть куда.

— А им? — спросила сестра, взглянув на других.

— А мне — нет! — ответила Риффель.

Оставшись одна, она подошла к умывальнику, стала брызгать в лицо водой. Капли текли по щекам, падали с подбородка.

Почти вплотную прижавшись к зеркалу, Риффель долго глядела в себя. Словно знакомясь с кем-то чужим или с собою заново, она с горькой лаской коснулась новой морщины, погладила шею, что-то сняла с краев губ, растянув свой усталый рот в большое овальное «О».

Играло радио. До боли печальные звуки уходили в тишину, тонули в ней, а из той тишины выплывали до боли печальные фразы: «...тогда Ирод, увидев себя осмеянным, весьма разгневался и послал убить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его от двух лет и ниже...»

Риффель закрыла глаза. Из древних глубин души словно повеяло ветром пустыни с горько-знакомым запахом уже незнакомых трав...

Был рассвет, и была дорога.

Прижимая к груди Младенца, сонно качалась в седле Мария. Иосиф дергал повод, торопя осла, тревожно оглядывался на покинутый город.

Быстро светало.

Солнце оцупало крыши домов, протиснулось в щели улиц и разлилось оранжевой лавой по площади.

В центре ее, у колодца, толпились солдаты. Напившись и громко пыхтя, рыжебородый гигант вытирал красным плащом лицо.

Держа на плече кувшин, к колодцу шла женщина. За ней неуклюже спешил ребенок.

— Мальчишка? — ткнул пальцем в него рыжебородый.

— Сынок! — гордо ответила женщина.

— Сколько ему?

— Уже годик.

Солдат поднял ребенка на руки:

— Ух ты, тяжелый какой!

Мать засмеялась счастливым смехом.

— Как имя его?

— Малх.

— Малх? Царь?.. Царь! — закричал солдат красным плащом и подбросил ребенка вверх.



— Осторожней! — испуганно крикнула мать.  
— Малх! — хохотал солдат.  
Раскинув руки, как крылья, ребенок падал вниз.  
— Малх! — завопила женщина.  
Сверкнул на солнце подставленный меч...

— Разорался про какую-то холеру! — сказала Шинкарук.  
Она подошла к приемнику, дернула за шнур. Потом, взглянув на освободившийся от кресла угол, усмехнулась:

— Без аппарата скучно.  
— Тяжелое какое!.. — сказала Анзина.  
— Любишь кататься, люби и саночки возить.  
— Они не имели права!  
— Не блажи...

Вновь в палату вошла медсестра.

— Двинуть рояль? — спросила ее Шинкарук. — Куда прикажете?  
— Почему куклы разбросаны?  
— Играли.

— И стол не на месте. И это... — сестра взглянула на манекен.  
— Это мы мигом! — зло засюсюкала Шинкарук и замерла на месте.

В палату вкатили первую за утро абортничку.

— Решили все-таки здесь? — обратилась к сестре краснощекая сдобная санитарка.

— А куда их? Везде битком.  
— Некуда, — согласилась та.

Сладко зевая, она стала стелить постель:

— Спать хочу, мочи нет!  
— Ночью спать надо.  
— С кем?

Она улыбнулась:

— Тебе хорошо. Ты — с Самвелом...

— Он — прелесть! — сказала сестра. — Он мне предложение сделал. Тебя, говорит, спасать надо, а то еще выйдешь за русского. Он мне говорит: я тебя, говорит...

Она зашептала подруге на ухо.

— Вот это конь! — ахнула та.

— Он хочет поселок купить, — продолжала сестра. — Целый поселок! Чтоб были там дачи. Не просто дачи, а как у тех... как у этих... Я, говорит, хочу, чтоб были там пруд, и лебеди, и вишневый сад...

Они сняли больную с каталки, повалили ее в кровать.

— Аккуратней! — крикнула Анзина. — Ей же больно!

— До свадьбы все заживет, — усмехнулась сестра, направляясь к двери.

— Охота тебе шуметь? — сказала Анзиной Шинкарук.

— А тебе?

— Что толку?..

Она взглянула на новенькую:

— Девчонка совсем!

— Красавица! — согласилась с ней Анзина. — Какое роскошное тело!

Собор!

— Расковыряли, однако...

— Рушим соборы. Зачем?

— Там нет ничего! Там пусто! — крикнула Риффель.

— Там боль! — сквозь зубы ответила ей Шинкарук.

С улицы торопливо и резко прогудела сирена: короткий, два длинных и снова короткий сигнал.

— Это за мной! — всполошилась Риффель. — Это мой так гудит!

Она подбежала к окну, закричала:

— Я здесь! Я здорова! УВИДЕЛ!

— Не суетись, — сказала ей Шинкарук.

— Да иди ты!.. — ответила Риффель. — Драпать нужно из Вифлеема.

Драпать, пока не поздно!

Она торопливо собрала вещи, швырнула на койку пакет с едой:

— Это все вам. Тут свежее...

Женщины стояли у окна. Смотрели.

— Машина... По-моему, «опель»... Все чин по чину, — сказала Ершова. — Интересно, как мой приедет?

— А мой не приедет, — ответила ей Шинкарук.

— Не сможет?

— Не хочет... Он ребенка хотел. А я не хотела: боялась. Я одного уже родила. Как Петровича. Он там... со мной... на работе...

Ершова молчала.

— Я такого тогда по любви родила. А какой бы сейчас получился?

Она продолжала:

— Как странно все. Ведь было же что-то! Не просто же так мы в загс заглянули!.. Куда все уходит? Зачем?.. Вот муж мой... Я раньше его всего слышала. Мне раньше в нем нравилось все. И все теперь меня бесит. Всю жизнь он шутил одной шуткой. «Поцелуй в меня», — говорил, и сам ржал, как лошадь. И я с ним ржала, как лошадь. А теперь меня всю коробит.

— Целуешь? — спросила Ершова.

— Целую...

— Смотри-ка, там тоже целуются, — кивнула она в окно. — С букетом явился. Рот до ушей. Словно за двойней приехал.

— А сам-то! Потеха! Нос на соплях еле держится!.. Ей с любым целоваться можно, — сказала зло Шинкарук. — Задница — во! Харчи дармовые! Ворует вовсю! Они, в ресторанах, все жулики!

— А где сейчас не воруют? У вас, поди, тоже воруют?

— Воруют...

— Ну вот... Вот и все: уехали! — сказала Ершова. — Как я устала! До слез!

Она упала лицом в подушку. В глазах замелькали какие-то точки, круги, темные пятна. Хотелось заплакать, сладко и вволю, смыв слезами темную рябь.

Послышался шорох, торопливо-босой звук шагов.

Подкравшись к кровати с новенькой, Анзина склонилась над ней с болезненным любопытством.

— Что же мы, женщины, делаем? — вдруг сказала она. — Что останется после нас? Орущие, пустые колыбели?

Она замолчала, поджидая ответа, и, не дождавшись его, продолжала:

— Мы лжем себе, говоря, что рожать нам сейчас не время. Мы лжем самой лютой ложью. Мы непорядочны в этой лжи...

— А в любой другой? — перебила ее Шинкарук. — О чем ты, милая? Для нас порядочность — мучительная догма!

— И снова, опять мы солгали! Правда другая: мы — вне закона. Как женщины мы вне закона. Мы и не женщины. Мы оскверненные могилы!

Она царпанула себя по глазам.

— Что я наделала! Я бы могла родить Бога!

— Да замолчи ты, «божья коровка»! — заорала на нее Шинкарук. — Какие там боги? Семя гнилое, и поле гнилое! Бурьян, сорняки!..

— Божья коровка, улети на небо!.. — тоненько и фальшиво запела Анзина. — Тут как в клетке: нечем дышать!.. Мамочка! Милая! — закричала она. — Как же мне стыдно!..

Кипели алой кровью мечи: устали. Устали солдаты.

Кричал офицер, собирая отряд в колонну.

Поплутав среди тесных улиц, дорога вырвалась навстречу закату.

В тени крепостной стены дворняжка кормила щенят. Те тыкались мордами в брюхо матери, шуршали когтями по розовой шкуре.

Рыжебородый солдат, опрокинув одного из них на спину, вынул меч.

— Тоже парнишка! — крикнул он, рассекая щенка пополам.

В ответ зазвучал бородатый хохот...

Выла собака.

Красная пыль провожала отряд. Темнело. Небо было без звезд.

И горе, как небо без звезд, чернело без конца и края.

Ночь забрала город в плен. Была тьма и свечей блужданье.

Матери звали детей своих:

— Авдий! Родной!

— Илия!

— Мой Лазарь!..

Гасли свечи: млечный путь надежд. Цикадно звенело эхо: «...глас в Раме слышен, и плач, и рыданье, и вопль великий: Рахиль плачет о детях своих и не может утешиться, ибо их нет...»

## ДОМ НА ТИШИ

Бархотки дед называл «кобыльими ссачками». «Кобыльки ссачки» — и все. Цветов было много. Они росли в палисаде, на клумбе и в дальнем конце двора, где стояли кадушки.

Я помнил себя в тех цветах. Мне было весело: меня нашли! Я не верил тому, что детей находят в капусте. Их находили в цветах. Для меня это было истиной. Лишь позже, став взрослым, я начал в ней сомневаться. Встречая хмурых людей, я знал, что родина их в капусте, и еще я знал, что они несчастливы...

Дом, похожий на гриб, рос на самом речном обрыве. Он держался углом за громадный вяз, а стеной с двумя хитрыми окнами смотрел на Волгу. Я шел к нему, узнавая ногами каждый изгиб тропы, и знал, что там, за калиткой, я снова найду себя, оказавшись среди цветов, у теремного крыльца, на ступенях которого будет сидеть, намывая гостей, рыжий кот.

Дед шел мне навстречу. Он обнял меня, клонул в шею:

— День-то какой! Как на Троицу!

— Пойдем на обрыв, — сказал я.

Мы сели на лавку и долго молчали, глядя на реку. Она сияла на солнце, была гладкой, как новая дорога.

— Какой восторг! — сказал я.

— Вот так мы и с бабушкой тут сидели. Считаю, всю жизнь просидели.

— А теперь что — не жизнь?

— Жизнь — когда вместе, — ответил дед. — А сейчас я один: доживаю.

Он встал, улыбнулся мне:

— Пойдем в дом. Выпьем чаю.

Дом постарел. И воздух стал в доме другим, и вещи. Исчез самовар. Вместо него ворчал на плите незнакомый мне чайник, а на стене висел календарь с портретом Ван Дамма.

— А где же «Грачи...»? — спросил я.

— Улетели.

— Зачем?

Дед пожал плечами.

— Ну, ничего, — сказал я. — Теперь все пойдет по-другому.

— Как «по-другому»?

— Повеселей...

Я лежал и смотрел в окно.

Месяц-рыбешка висел на крючке шпингалета. Вяз караулил двор.

Хотелось заснуть. Я ворочался с боку на бок. В вялых хлопьях бессоницы мелькали неясные дни, и сама жизнь казалась неясной, размытой — лишь тенью неясного сна.

Я встал и вышел из дому.

Где-то кричали лягушки. Месяц, как из ладони, лил по реке серебро.

Я стоял на обрыве, на самом краю земли, и меня с одинаковой силой манили к себе Млечный Путь и зыбь лунной речной дорожки. Хотелось закрыть глаза, измерить от страха и, шагнув в пустоту, ощутить безрассудство полета в эту ночь с лягушками и луной и с росным ее ознобом.

Я был околдован ночью.

Оставшись с ней с глазу на глаз, я пытался понять ее беспорность. Она была первым стихом Бытия и первой мыслью Создателя.

В вязе ворочался ветер, точила обрыв река, и все громче кричали лягушки. День рождался небесной тьмой, омывался речным потоком, в котором нежными пальцами облаков месилась глина еще не воплощенных замыслов.

Что-то мелькало в воздухе, шуршало то сухо, то влажно, и я никак не мог догадаться — что это. Лишь когда рассвело, я увидел в траве и на гребне калитки обсыхающих от росы стрекоз.

Я сбивал их прутом. Стрекозы хватили его своими цепкими лапками, и прут мне казался хрустальной палочкой. «Только взмахни им, — подумал я, — и услышишь прекрасную музыку». Мне было хорошо, как в детстве, и еще я думал о том, что если ночь — это мысль Творца, то утро — его улыбка.

Дед стоял на крыльце, смотрел на меня удивленно.

— Я думал, ты спишь, — сказал он.

— А ты что не спишь?

— Я думал, пока ты спишь, сбежать на рынок. Гость в доме, а дома — шаром покати.

— Какой же я гость? Блудный сын...

Я сам удивился тому, как невзначай и точно определил свою жизненную роль. Все встало на свои места. Жизнь начиналась заново, с переезда души. Уже промчались мимо две огромные станции — ночь и утро, а навстречу, словно из тоннеля, с веселым смехом выкатился день.

Он обещал быть жарким. Солнце уже пекло. Окна дома, поймав его свет, пылали нестрашным пожаром.

Мы шли по улице с чудесным названием — Тишь. Крепкие избы, заборы, бревна вместо завалинок... То ли я возвращался в детство, то ли детство шло мне навстречу? Я улыбнулся знакомой рябине, калитке и дому, который, казалось, дремал, прикрыв окна резными ставнями.

За забором на длинных шестах качались скворечники. Их было шесть, и один из них мой, с красным обводом вокруг глазка.

- Узнаешь? — спросил меня дед.  
Я кивнул ему.  
— Сейчас это дом Вавиловой. Дамы с собакой.  
Он продолжал:  
— Аня живет в Ленинграде. Мать схоронила. Дом продала...  
— Я знаю.  
— Откуда ты знаешь?  
— Она мне зимой писала...

Я не ждал письма, был не рад ему, как возврату болезни, но когда прочитал: «Здравствуй, милый...» — руки мои задрожали и больно екнуло сердце.

Письмо было длинным, с помарками. Его писали сразу и сразу отправили, испугавшись гладкости чистовика.

«Прости, — писала она, — что напоминаю о себе через столько лет. Я, конечно, могу подумать, что ты забыл меня. Сколько раз я себе говорила: «Он забыл меня» и сама в это не верила. Ты не можешь забыть меня, ведь правда? Лешенька, милый!..»

Я положил письмо на колени и перевел дыханье. Мне вдруг захотелось водки, и я представил себе стакан водки, ее целебный удар по сердцу и наступившее затем безболье.

«Летом была в городке, — писала Анна. — Схоронила маму и поняла, что не смогу там остаться. Дом продала. Все продала. Захватила лишь книги, письма и фотографии. Хотела забрать твой скворечник (помнишь скворечник?), но не смогла его достать. В последнюю ночь перед отъездом бродила по дому и плакала. Память, память... Самое печальное чудо на свете! Самое прекрасное чудо на свете!.. Пишу о печали, а на губах улыбка. Вспомнились вновь скворечники. Первым был Пашки Зотова. Помнишь Пашку? Какой был чудак! Вы все тогда словно взбесились, были такими смешными! И ваши скворечники... Твой скворечник я обвела кружком. Красным кружком. Я тогда тоже была смешной...»

...А школа!.. Я бы все отдала, чтобы вернуться туда, чтобы хотя бы раз, хотя бы еще разочек пройти с тобой нашей улицей, торопясь на уроки, чтобы услышать звонок и тишину класса и чтобы ты сидел рядом и резал на парте смешное и нежное сердце, пробитое стрелой. Как я люблю все это, милый, любимый, родной! Сердце болит! Ты — злой пророк. Ты знал, что не шутишь, пробивая его стрелой...»

Я закрыл глаза. Так и сидел, зажмурившись, а за окном шел снег.

«Хотела написать тебе в двух-трех словах о самом главном. Дескать, жива-здоровая, пиши. И вот пишу и пишу сама, и все — самое главное. Я вижу тебя, я слышу тебя, и вместе мы плачем. О чем?.. Я думала, все пройдет, и в общем-то все проходит. Остается только любовь, остается в душе на всю жизнь, как самое главное ее событие. Я молюсь на нее. Тут уже — сердце: ему не прикажешь...»

Я перевернул страницу. Первые строчки ее были густо замазаны. Дальше Анна писала:

«...Хватит об этом. Все равно, все — не то. Нет таких слов на свете. Я думаю о тебе и люблю — вот, пожалуй, и все слова. Мои самые главные три слова. Остальные слова как гирианды на елке. Помнишь каток?..»

Я помнил сверкающий лед. Играла музыка, а у столов с самоварами толпились озябший народ.

Я шнуровал ей ботинки. Она стояла, держась за меня.

— Не туго? — спрашивал я.

— В самый раз...

Она пахла морозом, чистым снегом. Счастьем были ее глаза, ее руки на моих плечах, а потом счастьем стал лед катка, ее веселый смех и мелодии из «Карнавальной ночи»...

«Помнишь тот снег? — продолжала она. — А наши губы? Твои были теплыми-теплыми! Я до сих пор слышу их вкус. Милый мой мальчик! Далекий мой мальчик! Ау!.. Снова мы вместе. Пусть ненадолго: кончится это письмо, и я с тобой попрощаюсь. Но пока я пишу его, мы вместе... В доме пусто. Ночь. В одиночестве есть своя прелесть: никто не мешает мечтать. Я мечтаю. Не смейся! Я мечтаю о тебе. Когда-то мечтали мы вместе. Давай помечтаем опять: мы — вместе! Я не знаю, о чем еще можно мечтать? Я — с тобой. Ты — со мной. Мы вместе. Как тогда...»

Поезд подходил к Ленинграду. Анна нервничала.

— Сиди смироно, — просил я ее.

— Не могу. Понимаешь, я не могу. Я все время чего-то жду.

— Жди на здоровье. Только спокойно жди.

Мы вышли на перрон. Пахло опилками. Шел дождь: крупный, грибной. День прошел в суете обустройства, а утром у Анны начался жар. Она не могла заниматься и паниковала:

— Я не поступлю. Вот увидишь!..

— Поступишь.

Она лежала в постели, пила горячее молоко, а я сидел рядом и читал ей учебник вслух.

— Ты все время со мной, — говорила она, держа меня за руку и боясь отпустить ее. — Ты тоже не поступишь.

— И я поступлю.

— Не смейся! Когда твой экзамен?

— Не скоро, — сказал я, вставая.

— Ты хочешь уйти?

— Отдыхай.

— Я не хочу, чтобы ты уходил. Останься...

Сколько лет минуло с тех пор? Я не считал. Все эти годы, словно в нехитром фокусе, тасовалась перед лицом колода. Из нее всегда выпадали одни и те же карты: дальняя дорога, пустые хлопоты... Мне хотелось

вернуться назад, а я уходил все дальше. Мимо мелькали события и лица, и лишь неподвижной оставалась ночь с глазами Анны. Глядя в те зеркала бесконечно родной мне души, я вспоминал дождь за окном, Неву, испуганный шепот, стон сытого лона и тот счастливый взгляд сквозь ресницы, когда на смену отцветшему девству приходит спелая женская страсть...

«Скоро конец, — писала Анна. — Я с ужасом приближаюсь к нему. Что дальше? Чего мне ждать? Всю жизнь я жду невозможного. Я знаю: нельзя вернуться назад. Отчий дом встретит тебя паутиной, детство моргнет печально красным глазом скворечника, а любовь лишь выльется в исповедь уже незнакомой тебе женщины. Но что-то тревожит меня, искушает поверить в возможность чуда дважды войти в одну и ту же реку... Я прощаюсь с тобой, как прощалась тогда на вокзале. Я обещала писать — вот и пишу. Одна наша ночь и одно-единственное письмо... Какая громадная жизнь!..»

Я сложил аккуратно листы и, не зная, что делать, сидел и гладил письмо рукой. Все как-то смешалось во мне, заняв не свои места. Я был в настоящем, а жил прошлым и, глядя на снег за окном, видел июльский дождь, перрон и Анну.

Я уезжал.

Накануне отъезда мы целый день бродили по городу, случайно отыскивая улицы, знакомые нам по открыткам. Ленинград становился другом, другом на всю жизнь, а череда проспектов и каналов — веками в этой жизни.

Незаметно кончился день, став белой ночью, а потом незаметно кончилась ночь.

Анна плакала. Она прижималась лбом к моим ладоням, затихала на миг и вновь начинала плакать. Мне было так тяжело, что хотелось скорее расстаться. Я был рад, когда поезд тронулся и медленно поплыл вдоль перрона.

Анна стояла, смотрела вслед. Вдруг, что-то поняв, она бросилась за вагоном.

— Я хочу с тобой! — закричала она.

— Пиши! — крикнул я ей в ответ...

Мы вышли в сквер, главную аллею которого замыкала собой огромная каменная ваза. В ней, как в гнезде, сидела ворона. Она отрыгнула свой собственный крик и упала вниз, лишь у самой земли шумно захлопав крыльями.

Седые тополя стояли неподвижно. Их тени лениво мели и без того чистые дорожки.

На месте бывшей киноплощадки шумел воскресный базар.

— Где тут тельцы? — балагурил дед. — Помнишь, как в «Блудном сыне»? «И приведите тельца, и заколите...»



Мы шли вдоль лотков, с которых смотрели нам вслед свиные головы. На дубовых колодах краснолапые мужики кроили топорами говяжьей туши.

— Прекрасная притча! — продолжал дед, наблюдая за их работой. — Нужно сперва потеряться, чтобы потом найтись.

Он посмотрел на меня:

— Разве не так?

— Так.

— Конечно, так! Все наши несчастья — несчастья блудного сына, а наше спасенье — найтись.

Он выбрал сочный кусок, взвесил его на ладони.

— И тогда Отец скажет рабам своим: «Приведите тельца и заколите: будем есть и веселиться! Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся...»

Он улыбнулся мне:

— Каково! В двух словах — обо всем. Обо всех! А какой повод для пира!.. Хочешь, устроим пир?

— Хочу! — засмеялся я.

— Сядем рядком, потолкуем ладком.

— О чем?

— Обо всем.

— Обо всем — дня не хватит.

— Хватит, — ответил дед.

День — самое скучное время суток. И добро, если день пролетит незаметно. Но когда он тянется без конца — это невыносимо!

Каждое мгновение — вечность. Душа уже летит куда-то, торопится, подгоняя себя, а время стоит, как солнце в полдень, смывая тени желаний потом дневных забот.

День, говорят, мудрей вечера. Так, наверно, и есть. Мудрость дня съедает мудрость ночи, и вместо прекрасного облика ты видишь лишь мутное фото незнакомого тебе лица, вместо неясных, чарующих звуков слышна изреченная ложь чеканно построенной фразы, а вместо работы души совершается тяжкий труд плоти с ее вечным голодом, тоской объективной реальности и прагматизмом. А потом... Потом наступает вечер, и вся мудрость дня превращается в сон его ошибок и в беспощадный их суд.

Сомлевшая от жары, уставшая от четкостей дня душа просит вечерней размытости, прохлады почти рожденной мечты и покоя — не байбачного, обломовского покоя, а одинокого покоя чистых, еще никем не тронутых грез. В такие минуты рождаются самые светлые мысли — начало бессмертья души.

Солнце остыло, превратилось в оранжевый шар. На него можно было смотреть не щурясь.

Длинные тени упали на землю. Стало темно.

Я стоял на обрыве, следил, как уходит день.

— Чара, фу! — послышался голос.

Я оглянулся. Ко мне подходила женщина, ведя на поводке овчарку.

— Не бойтесь, — сказала она. — Собака смирная.

— Надеюсь.

Она улыбнулась:

— Нашла ее. Бегала, плакала: совсем щенок! Мне стало так нежно, я и взяла... Чара, иди ко мне!

Собака подбежала, легла в ногах.

— Афганская овчарка, — сказала женщина.

— Можно ее погладить?

— Можно.

— С ней мы уже знакомы. А с вами?

— Хотите погладить меня?

Я засмеялся.

— Лера, — представилась женщина. — Вы Алексей?

Я взглянул на нее, увидел теплый профиль и влажный огромный глаз.

— Здесь все про все знают, — сказала она. — Живем, как в раю.

— Не страшно ходить по раю? Все-таки ночь...

— Я — с собакой.

— Она ж не кусается.

— Я кусаюсь.

— Ей с вами не страшно.

Она опять улыбнулась.

— Вы к нам откуда? — спросил я.

— Из Старой Руссы.

— Из Старой Руссы? Как красиво звучит!

— Я скучаю по Старой Руссе.

— А здесь вы давно?

— Я скучаю по Старой Руссе ровно год...

Она поставила на стол тарелку с виноградом:

— Ешьте.

Я огляделся. Комната была тесной. Одну стену занимал книжный шкаф, над которым висел гипсовый нос «Давида». Рядом с ним был шкаф платяной, а у двери на веранду стоял диван.

В нише мерцал улыбкой женский портрет. Я смотрел на него и ел виноград.

— Вам здесь нравится? — спросила она.

— Мне этот дом знаком с детства.

— Тут все осталось как прежде.

— Тут все стало другим.

Мне казалось: стоит открыть калитку, войти в знакомый двор — и конец притче о блудном сыне! Но сердце стучало ровно, а в глубине души я знал, что дорога не кончилась, а лишь повернула куда-то.

— Выпьем вина? — спросила Лера.

Она налила в бокалы.

— Пейте. Это хорошее вино.

Мы выпили. Я поставил стакан, а потом поднял его и вытер салфеткой красный кружок на столе.

— Лейте еще, — сказала Лера.

— Лью, — извинился я и, взглянув на портрет, спросил: — Это вы?

— Я, — кивнула она. — Здесь мне семнадцать лет.

— Парижанка!

— «Персик» — как говорил мой муж.

— Он у вас гурман.

— Он у нас был майором. Мечтал стать генералом. Зубрил ночами «Науку побеждать». Свистел, жевал карандашик. Высох весь, как вода. А по утрам будил: «Рота, подъем!»

Она махнула рукой:

— Сейчас и смешно, и пустяк. А тогда было невыносимо!

— И тогда все было — пустяк.

— Почему вы один?

— А вы?

— Собака не в счет?.. Вы — грустный.

— Лицо такое: брови вниз.

— У меня брови вверх.

— А «Давида» вы где достали?

— Это не «Давид». Это его нос.

— Красиво висит.

— Как говорится: осталась с носом.

— Зато с каким! — улыбнулся я. — Вы видели прежнюю хозяйку?

— Да, — ответила Лера. — Она странная женщина. Она прекрасная женщина. Она не от мира сего... Если б кто видел ее отъезд! Словно изгнанье из рая: выгнали насовсем! Я не знаю, как это объяснить. Это было... Не знаю!.. И эти скворешни... При чем тут скворешни?.. Она словно прощалась с жизнью. Уж, казалось, какое мне дело, и то хотелось завывать!..

Я встал, подошел к окну. Мне видна была клумба с цветами, а в дальнем конце двора чернел летний душ с ржавым баком наверху.

— Почему вы молчите? — спросила Лера.

Я взглянул на нее.

Мысль, весь день беспокойно зревшая во мне, появилась на свет ясной и простой до удивленья. Не грешная плоть возвращается в дом, не голодное тело стремится к котлу. Только в любви мы подобны Богу. Одна душа жаждет встречи с другой. И когда такая встреча случается — конец всем

пригчам на свете! Ты сидишь на родном пороге, слушаешь сладкую боль уставших ног, а твой скитальческий посох ненужно отброшен в сторону...

— Мне нужно идти, — сказал я.

— Еще рано.

— Мне нужно идти.

Мы снова пришли к обрыву. Туман висел над рекой. В молочной его пелене светился бакен.

— Вы завтра придете? — спросила Лера.

— Я завтра уеду.

— Зачем?

Я обнял ее.

— Когда вы вернетесь?

— Не знаю. Если вернусь, то зайду.

— Не жирно... — сказала она и, махнув на прощанье рукой, пошла к дому.

## ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ

Ханан Гирш вцепился пальцами в волосы и застонал. Он был пьян.

С минуту назад ушли последние гости, оставив после себя табачный чад, загаженный объедками стол и осевшую, как пыль по углам, болтовню. Говорили о тем и о сем. Кто-то мечтал об утиной охоте, кто-то собирался в отпуск, а кто-то, поссорившись с женой, всерьез стал подумывать о разводе. Счастливчик! завидовал ему Ханан. Есть с кем ссориться, и есть с кем разводиться! Шатаясь, он дошел до дивана и, рухнув на него, провалился в сон. Ему снились «Черный квадрат» Малевича и кувырки вместо полета.

В третьем часу ночи Ханан проснулся. Трещала голова. Он подошел к столу, налил в стопку водки, выпил и, вспотев, почувствовал, как полегчало. Вот и кончился год, подумал он и вдруг понял, что отныне год будет кончаться у него не как у всех, в декабре, а днем смерти жены.

Сейчас, думая об этой смерти, он вспоминал не день похорон, а день их знакомства. Тогда она, синеглазая казачка, поступила в пединститут и пришла к нему на факультет общественных профессий. Ханан вел там литературную студию и попросил ее почитать стихи. Она читала Багрицкого, а он слушая ее, не стихи, а ее и *слышал!*

Потом была свадьба с казачьим салом и с фаршированной щукой, с дробной русской пляской и с «Семь-сорок», с протяжными степными песнями и с певуньей-скрипкой. Ох уж эти еврейские скрипки! Никогда не поймешь, где они смеются сквозь слезы, а где плачут сквозь смех?..

Сидя на диване, он, полупьяный и выдохшийся человек, смутно сознавал этапность своей жизни: до встречи с ней, жизнь с ней и жизнь (жизнь

ли?) после нее. Он поражался неведомо кем творимой режиссуре судеб, пытался найти в тех судьбах смысл и порой находил его, а порой все казалось ему абсолютно бессмысленным.

Смысл кончился началом болезни жены. Тогда, прожив уже вместе вечно, они решили съездить на юг. Выбрав Мацесту за красоту названия городка и за что-то еще, очень похожее на возвращение в рай, они приехали в этот рай, просто купив билеты. Их встретил у врат того рая веселый абхазец. Подхватив чемоданы, он привез их в свой дом, показал комнату, которую сдавал, и море, которое синело за окном.

Погода стояла прекрасная, солнце пекло, а море было спокойным. Они проводили на берегу весь день. Жена стала похожей на шоколадку. Он желал ее все время, и когда она снимала купальник, обнажая незагоревшую грудь, он сходил с ума. Спали они в саду под открытым небом, и под открытым небом любили друг друга. Над ними сияли звезды, и свисала ветка с тремя растущими рядом яблоками. Тогда ему было неведомек, что те яблоки и впрямь являлись запретными плодами, и что, узнав их вкус, он рано или поздно познает вкус изгнания из рая.

Вернувшись домой, жена стала жаловаться на странные боли. Врачи сказали: «Нужна операция». После нее все, вроде бы, встало на свои места, но остался испуг, и впервые закралась в душу мысль о возможном одиночестве.

Спасаясь от него, Ханан крестился, приняв имя «Владимир», и окунувшись в прежде неведомый мир церкви. На него снизошло умиление. Он стал петь в хоре, с наслаждением разучивал тексты молитв и с наслаждением вдыхал запах ладана. Всем сердцем любя и Рождество, и Пасху, он с особым восторгом встречал пахнущую сеном Троицу и стоящие у порога бабьего лета щедрые Спасы. Он любил треск горящих свечей, первых тихих прихожан, любил смотреть, как заполняется народом храм, и слушать, как довольно стройно исполнялись единодушное: «Верую!» Он хотел верить сам. В каждой мимолетности замечалось чудо, а каждое новое чудо рождало новое умиление. Вечерами, придя домой, он искал чудеса исцеления в глазах и в улыбке жены. Он молился с жаром, со слезами, веря, веря, веря... Веря в очевидное. Жена, усыхая на глазах, становилась все меньше и меньше. Некогда короткая и тесная ночная рубашка стала просторной и длинной, а брачное ложе, помнящее тесноту объятий, вдруг превратилось в широкое поле, и нужно было раскидывать руки, чтобы нащупать руку жены.

Однажды она попросила Ханана покатаь ее по городу. Это было путешествие в ушедшее счастье, и больше всего на свете он боялся вопроса: «А помнишь?..» Но жена лишь сказала: «Поедем домой», и там, обняв его и заплавав, шепнула: «Бедный ты мой...» Он катался по полу и выл от великой тоски, и тогда ему показалось, что он умер первым, а его жалкое бессмертие продолжало тлеть лишь в остатках ее жизни.

Она умерла в тот самый день, когда воздвигли крест на месте будущего храма царю-мученику. Как сообщил корреспондент, в тот момент тучи на небе разверзлись, и солнце осияло святое место. Богомолки плакали и верили в чудо. Никто не вспомнил тогда ни Ходынку, ни 9-е января. Если все святые такие, то я дико извиняюсь! подумал Ханан и, выключив телевизор, сел рядом с женой. Она взяла его руку, тихонько жгла ее и, кашлянув, умерла. И тучи не разверзлись, и солнце не воссияло, но плакал он искренней любовью богомолки. Он закрыл ей глаза и первое, что почувствовал, истому облегчения: отмучалась! Но после девятого дня, словно стена на голову, обрушилось понимание беды. Он вдруг понял, как любил ее, и ему рядом с этой любовью показалась детской выдумкой его любовь к Богу. Он понял, что за любовь к этой женщине без оглядки отдаст все любви ко всем богам, и еще он понял, что боги и есть кумиры, а значит, ложь, и что единственная неложь на свете — это она и он. Все раи стали казаться ему ничем рядом с потерянным раем, а молитвы — лишь звуком пустым по сравнению с шепотом «на ушко».

Блаженны блаженные!.. хмыкнул Ханан, вспоминая свои «умиления» и глядя на словно возникший из сна черный квадрат окна. Он не верил уже ни в рай, ни в ад. В *тот* рай и в *тот* ад. Раем и адом была сама жизнь. Мысль оказалась простой и очевидной до изумления. И если жизнь становилась адом, а в смерти мерещился рай — нужно было лишь шагнуть тому раю навстречу.

После сорокового дня он достал из чехла ружье, нащупал у виска мякушку, приставил к нему ствол и, дотянувшись до курка, удивился тому, как легко и удобно лег на него палец. Оставалась самая малость: нажать на спуск. Но тут что-то екнуло под сердцем. Он представил себя на фоне кладбищенского пейзажа: среди могил, тлена и кукованья кукушки, бесовственно пророчащей бессмертье мертвецам. Ему показалось, что там, под грудой песка и глины тоже нет желанного покоя. Там затаился страх — страх, который сильнее любого здравого смысла. «А вдруг там что-то есть?» — вот вопрос, от которого волосы становились дыбом. Толком никто ничего не знал. Виденья «святых отцов» и тысячелетний заморок помогли обрести тому страху и место, и форму, и имя: ад, адское пламя и адские муки. И мука ожидания Страшного суда при ясном понимании того, что страшный суд — это каждый прожитый день. Он начался с первых минут творения человека и тогда уже вынес ему приговор:

«Проклята земля за тебя; со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни своей; тернии и волчцы произрастят она тебе; и будешь питаться полевою травой; в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо — прах ты..» И — в шею! На первый этап! «Такой-то, на выход! Такая-то, на выход! Казенные вещи сдать!» А всех тех вещей казенных — фíговые (или фигóвые, как все казенное) листочки.

И пошла, запыхавшись каторга! «В поте лица», ради хлеба насущного, с первой заповедью бытия: «Человек человеку — волк». Ветхозаветно месилась жизнь: брат на брата и зуб за зуб. Что сеяли, то и жали. За все платилось с лихвой: содомно, гоморрно, потопно. И, может, хотел человек жить иначе: чтобы в любви и так далее. Но не дремал старый бог. Счастливый человек ему даром не нужен. Счастливого человека — сам бог!

Новой задумкой пыталось цвести христианство. Но послала ему судьба в апостолы рыбаков да мытарей. Вот и «словилось» ученье, «замытарилось», вернулось в старую проклятую колею.

А дальше пошли преподобные, отшельники, скитники. Во гробах живьем лежащие, плоть умерщвляющие, жизнь ненавидящие — «подвиг» творящие! Что могло мерещиться им в тех постных моленьях, да в склепах смердящих, да во гробах разбазаривающих жизнь свою? Ад! Мало им ада на земле. Другой подавай: от того не отвертишься смертью. И зажил человек без надежды на тихий сон, в вечной вине, в вечном огляде и в вечном страхе перед вечными муками.

Разбрелось по земле чудо-воинство, с именем Бога, во имя Бога и ради Бога готовое судить и рядить всех и каждого. Святые!.. вновь хмыкнул Ханан. Он понимал: возрождение церкви — это не только возврат к исконным народным корням. Вера в Бога, как вера в чудо — плод жизненной пустоты. Единственным храмом, в который бы он вошел с покаянием, стал бы храм одуроченному народу — храм на Великой Крови. Но такой храм никто и не думал строить. Он стал мечтать не о царстве небесном, а о царстве земном, где любил бы не Бога, а человека. А мечтал, сознавая: таких царств не бывает. Человек, лишенный духовной свободы, как зверь, воспитанный на скотном дворе, уже не мог жить вольно. О свободе он мог лишь мечтать, но жить свободно уже боялся. Все те свободы, которые назывались «свободами», были свободами скотного двора, а все, что в дальнейшем нареклось «цивилизацией», было лишь его благоустройством. Благоустройством рабства.

Наверное, где-то в Америке и было возможно скотный двор превратить в скотный рай. Мы — не Америка. У нас все иначе. У нас все новое всегда хуже старого.

И в «старом» и в «новом» винули «жидов». Этот странный народ мешал всем. Что такое «жид», Ханан узнал на собственной шкуре. В своем детском криворожском мирке, на послевоенных пустырях он впитал в себя это понятие вместе с кличем уличной кодлы: «Бей жидов! Спасай Россию!» Их били на тех пустырях. И они — два брата-«жида» — тоже бились насмерть, не ощущая ни боли, ни страха, ни даже недоумения: «За что?», а просто ненавидя обидчиков всем сердцем.

После смерти «чудесного грузина» угроза всесоюзного погрома пошла на спад. Жизнь потекла ровнее. Куда? Как-то невзначай закончилась бес-смертная эпоха. Чередой отпортились творцы пустозвонных идей, и на

смену им пришла безыдейно-лихая «братва». Вечный бог — копейка — вмиг взгромоздилась на трон и, вопреки всем мудрым афоризмам, запахла. Народ зажимал носы, вспоминал о том, как «хорошо» жилось прежде, и, крестя терпеливые лбы, плелся в храмы.

Однажды в разговоре с Хананом жена сказала ему: «А может быть, так и надо?» И он подумал тогда, как вслед за женой еще кто-то спросит: «А может, так надо?», а там и третий подхватит все то же, и вопрос превратится в утверждение: «Так надо!» Родится новая сказка, родятся новые боги, а латы, рясы, молитвы и деньги заставят народ быстро поверить в них.

Все чаще и чаще эта страна казалась Ханану землей Сеннаарской, а ее история — историей Вавилонского столпотворения. Все время здесь что-то строили, строили, строили, каждый раз говоря: «До неба осталось чуток». До неба оставалось, как... до неба. То, что строилось — рушилось, хаялось, оплевывалось. Взамен оплеванным богам приходили еще неплеванные, и снова строили, строили, строили, а до неба по-прежнему оставалось, как до неба.

В смешении языков и гомонов Ташкент показался Ханану древним Вавилоном. Сюда перевели отца по службе из Кривого Рога. Здесь жизнь была легкой и почти беззаботной. Клеймо «жид» скрыло загаром солнце. Здесь о «жидах» и не слышали, здесь все были «черножопыми».

Все веселило Ханана: арыки, ишаки, базары. Всюду цвели сады, и никто не считал ни яблук, ни груш. Считали только хлопок.

«На хлопке» он познакомился с Фанузой — девочкой тонкой, как лоза. Вечерами они гуляли по кишлаку. Саманные заборы вдоль улиц, труба минарета, купол мечети и огромная, вполнеба, луна — все напоминало сказки «Тысячи и одной ночи». И легкие ее шаги, и звонкий, как колокольчик, смех, и глаза, тоже вполнеба, казались ему сном, и он робко касался ее руки, чтобы поверить в явь. Однажды, пугаясь собственной смелости, Фануза пригласила его в гости. У калитки дома их ждал ее отец. Бросив взгляд на Ханана, он захлопнул перед ним дверь и сквозь щель прошипел: «Уходи, беложопый! Уходи!..»

Поступив в университет и закончив его, Ханан стал работать в Нукусе. Там и застала его весть о землетрясении. В Ташкент он прилетел в полдень. Город, еще недавно пахнувший дынями, пловом и анашой, теперь пах пылью. Она висела, не оседая, накаляясь на солнце и сжигая сады, ишаков и арыки. Люди метались в том пекле, что-то неся, что-то спасая, что-то теряя и клича потерянных.

В клубах пыли стоял их разрушенный дом. Брат сидел на земле, спрятав голову между колен. От этажа осталась лишь обшарпанная стенка. На ней, как на могильной плите, висели фотографии родителей.

Проводив их в последний путь и помянув, как должно, брат стал собираться в Израиль.



— Поедем со мной, — уговаривал он Ханана. — Там — сказка. Там — рай.

— Зачем мне на уши чужая сперма? — отнекивался тот.

Оставшись один, Ханан ткнул пальцем в карту и попал в степной город на Волге. Он ехал туда налегке, еще не догадываясь, что стал невольным предтечей грядущим беженцам. Лишенные всего, они брели наугад куда глядели глаза, и всякий, встречаясь с ними, невольно прикидывал на себя их судьбу. «Бог дал, Бог взял», — об этом никто не думал. Бог здесь был ни при чем. Сами, своими руками творили зло. Пропадало пропадом все нажитое годами, береженное и на черный день, и на белый. В прах рассыпалось прошлое и надежда на будущее — все, что помогало мириться с судьбой и нести ее тяжкую ношу. И сзади, и впереди был конец света: сзади — уже наступивший, а впереди — ожидаемый. Душе не хватало домашних богов, милых бесед с домовыми и, словно живя во сне, ей мерещилось то и это, а при пробуждении виделась только пустая дорога в пустое завтра. И нужно было идти по ней, закрывая свою наготу лоскутами разодранной на лоскуты страны...

На новом месте Ханан устроился на завод и получил в общежитии койку. На этом скрипучем ложе зачалась мечта о доме. Он стал менять работы, пока не нашел то, что искал. Его приняли в салон ритуальных услуг и научили клепать кресты с венками из роз.

Горе оказалось щедрым плательщиком. В конце дня весь навар сваливали в общий котел, и начиналась дележка. Платили деньгами и водкой. Того и другого хватало всем. Купив машину, Ханан вечерами стал заниматься извозом и торговать спиртным. Он был и там и сям. На работе его прозвали: Там-он-ханан, а Тут-он-хамон. Кличка прилипла к нему намертво.

Наступил долгожданный день, когда он купил квартиру. Две комнаты с окнами в сад, сарай и гараж рядом с домом стали его раем. Теперь у него было все. Почти все. У него не было больше сил...

Резко, словно будильник, затрещал телефон. Ханан вздрогнул и снял трубку. Звонил брат. Теперь он жил в Америке, штат Пенсильвания, Фэрлесс-Хилс. Брат звал Ханана к себе, суля ему очередную сказку. Тот привычно отнекивался: тут дом и родная могила. Но главной причиной отказа было то, что он научился бояться нового, а пуще всего — новых сказок.

Светало.

## СОДЕРЖАНИЕ

Рондо на день Рождества Христова .....	2
Дом на тиши .....	18
Черный квадрат .....	26

**Виктор Семенов**

Черный квадрат

Руководители проекта *В. Лошак, С. Кондратов*

Редактор *Т. Михайлова*

Художественный редактор *О. Скочко*

Корректор *Ю. Баклакова*

Компьютерная верстка *Е. Яковенко*

Подписано в печать 24.12.07 г.

Формат 70x108<sup>1/32</sup>. Бумага газетная.

Гарнитура «Журнальная». Печать офсетная.

Тираж 60 000 экз. Заказ № 0721580.

ТЕРРА—Книжный клуб.

127206, Москва, Чуксин тупик, д. 9.



Отпечатано в полном соответствии с качеством предоставленного электронного оригинал макета в ОАО Ярославский полиграфкомбинат 150049, Ярославль, ул. Свободы, 97



## Народная библиотека «Огонька»

С 1 февраля в каждом отделении Почты  
открыта подписка на следующие издания:

<b>Универсальный словарь:</b> В 4 томах	1390 р.	<b>Мериме П.</b> Собрание сочинений: В 5 томах	1250 р.
<b>Большая Энциклопедия «Терра»:</b> В 62 томах	74400 р.	<b>Монтень М.</b> Опыты: В 3 книгах	890 р.
<b>Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона:</b> В 86 полутомах	68000 р.	<b>Моруа А.</b> Собрание сочинений: В 10 томах	2580 р.
<b>Детская энциклопедия:</b> В 10 томах	4620 р.	<b>О. Генри.</b> Собрание сочинений: В 5 томах	995 р.
<b>Энциклопедия «Великий час океанов»:</b> В 5 томах	2250 р.	<b>Островский А.</b> Собрание сочинений: В 6 томах	1014 р.
<b>Авенариус В.</b> Собрание сочинений: В 5 томах	990 р.	<b>Песков В.</b> Сочинения: В 9 томах	2520 р.
<b>Алданов М.</b> Собрание сочинений: В 8 томах	1232 р.	<b>Похлебкин В.</b> Сочинения: В 6 томах	1450 р.
<b>Андерсен Х.-К.</b> Собрание сочинений: В 4 томах	1520 р.	<b>Ремарк Э. М.</b> Собрание сочинений: В 8 томах	1592 р.
<b>Блок А.</b> Собрание сочинений: В 6 томах	1280 р.	<b>Родари Дж.</b> Собрание сочинений: В 4 томах	1220 р.
<b>Бунин И.</b> Собрание сочинений: В 9 томах	1830 р.	<b>Сабанеев А.</b> Собрание сочинений: В 8 томах	1456 р.
<b>Гиббон Э.</b> Закат и падение Римской империи: В 7 томах	1386 р.	<b>Сабатини Р.</b> Собрание сочинений: В 10 томах	1820 р.
<b>Горький М.</b> Собрание сочинений: В 6 томах	936 р.	<b>Софья де Сегюр.</b> Собрание сочинений: В 5 томах	1275 р.
<b>Гранин Д.</b> Собрание сочинений: В 5 томах	1075 р.	<b>Сименон Ж.</b> Собрание сочинений: В 10 томах	1990 р.
<b>Грин А.</b> Собрание сочинений: В 6 томах	1242 р.	<b>Соловьев Вс.</b> Собрание сочинений: В 9 томах	2080 р.
<b>Долгополов И.</b> Мастера и шедевры: В 6 томах	1500 р.	<b>Уэдсли О.</b> Собрание сочинений: В 6 томах	1308 р.
<b>Карамзин Н.</b> Полное собрание сочинений: В 18 томах	3060 р.	<b>Флеминг Я.</b> Собрание сочинений: В 7 томах	1540 р.
<b>Колетт С.-Г.</b> Собрание сочинений: В 7 томах	1274 р.	<b>Фолкнер У.</b> Собрание сочинений: В 6 томах	1194 р.
<b>Купер Ф.</b> Собрание сочинений: В 9 томах	1845 р.	<b>Хаггард Г. Р.</b> Собрание сочинений: В 12 томах	2880 р.
<b>Лесков Н.</b> Собрание сочинений: В 7 томах	1015 р.	<b>Чуковский К.</b> Собрание сочинений: В 5 томах	1025 р.
		<b>Ян В.</b> Собрание сочинений: В 5 томах	1310 р.